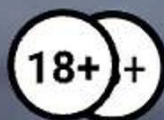


ХОЛЛИ ЭШТОН



СУХОЙ КВАРЦ

Серия „Заречье“. Книга вторая



Холли Эштон

Сухой кварц

«Автор»

2026

Эштон Х.

Сухой кварц / Х. Эштон — «Автор», 2026

Снежана Вольская привыкла выигрывать в одиночку: лучший конь страны, безупречный послужной список и контракт со всем миром — никому не быть должной. Всё рушится за один день: после чистой победы приходит положительная допинг-проба, которой не может быть. Клуб разрывает контракт за сорок восемь часов, пресса хоронит «королеву конкура», а её Барбадос становится «имуществом», выставленным на закрытый аукцион. Остаётся одна дорога — в «Заречье», к людям, которые разбираются в грязи лучше, чем в заголовках, и к неразговорчивому ковалю, который годами записывает в клеёнчатые тетради каждое копыто района. В этих тетрадях, как выяснится, есть и правда о том утре, когда чужая рука вошла в денник с ведёрком. Только цена этой правды — половина всего, что у него есть. Чтобы вернуть имя и коня, железной чемпионке придётся научиться тому, чего она не умела никогда: просить о помощи. Вторая книга серии «Заречье»; читается как самостоятельная история. 18+

© Эштон Х., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	11
Глава 4	14
Глава 5	17
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Холли Эштон

Сухой кварц

Серия «Заречье». Книга вторая. 18+

Глава 1

Снежана Вольская не верила в приметы, и приметы платили ей тем же.

Утро апрельского старта — второго в сезоне — было собрано, как её турнирная сумка: по списку, без сюрпризов. Подъём в пять сорок. Кофе без сахара. Прогноз грунта — сухо, манеж «Атлант-Арены» держал влажность, как швейцарский банк чужие деньги. Барбадос в деннике встретил её обычным утренним ритуалом: покосился, вздохнул и подставил лоб — единственному существу на свете он разрешал себя будить, и единственное существо на свете она будила с удовольствием.

— Работаем, король, — сказала Снежана.

«Сухим кварцевым королём» Барбадоса прозвал когда-то телекомментатор, и прозвище прилипло намертво, потому что было правдой. Кварцевый грунт — быстрый, звонкий, без вранья: он не прощает ни лишнего темпа, ни трусливой руки, зато честному галопу отдаёт всё, что взял. Лошади делятся на тех, кто кварц терпит, и тех, кто на нём играет. Барбадос играл. На дорогих аренах, где под копытами лежала эта белая сухая крошка, он двигался так, как другие лошади двигаются только в рекламных роликах, и Снежана знала за собой слабость, в которой не призналась бы даже себе: на кварце она иногда позволяла себе слушать не секундомер, а этот звук — сухой, чистый, их общий.

Сегодня звук обещал быть. Влажность в норме, грунт укатан с вечера, и конь под щёткой ходил мышцами так, что конюх, седлавший соседнего, засмотрелся и получил от своего по ноге.

На разминке к её манежу подошёл Аверин — как всегда, с кофе в картонном стакане и с новостями, поданными как забота. За спиной у него, на белоснежной кобыле немецкого аукционного разлива, разминалась Регина Заславская — девятнадцать лет, отец в совете директоров холдинга, посадка поставленная, дорогая и пустая, как выставочный зал.

— Снежана Игоревна, доброе утро! Как настроение, как король наш? — Аверин говорил «наш» про Барбадоса с прошлой осени, и каждый раз у Снежаны дёргалась мышца под глазом. — Кстати, хотел обсудить: холдинг планирует ротацию составов на сезон. Молодёжи нужен опыт больших маршрутов. Регине, в частности.

— Регине, в частности, нужны две базовые вещи, — сказала Снежана, не переставая следить за своей лошадью. — Шенкель и смирение. Первому учу я, второму — маршрут. Ротацию обсудим, когда она проедет сто сорок без слёз.

— Вы всегда так... определённые. — Аверин улыбнулся стаканом. — За это вас и ценим. Пока — ценим.

Она отметила это «пока» — профессионально, краем сознания, как отмечают сбитую жердь на чужом маршруте, — и забыла о нём на ближайшие три часа. Зря. В её жизни, расчисленной по минутам, это была последняя фраза, сказанная ей в статусе королевы, и её следовало запомнить дословно.

За два часа до старта конюшню накрыла обычная предтурнирная суета, в которой она двигалась, как нож в масле: ничего лишнего, никого лишнего. Новый персонал «Атланта» — с бейджами, в одинаковых куртках с логотипом, незнакомых лиц с каждой неделей больше — расступался перед ней в проходе. За полтора года после смены владельца клуб перестал

быть «Державой» и стал «активом в портфеле», но её это не касалось: у неё был контракт, у контракта были цифры, у цифр — её подпись. Снежана Вольская выполняла контракты. Это было единственное, во что она верила вместо примет.

Маршрут она прошла так, как проходила последние два сезона: одна против секундомера, потому что соперниц по классу в стартовом протоколе не значилось. Сто пятьдесят, тринадцать усилий, сухой кварц пел под копытами. Барбадос шёл упруго и весело — за зиму он соскучился по работе, и на связке у судейской ложи выдал такой темп, что фотографы у борта синхронно присели. Ноль штрафных. Лучшее время дня с отрывом в три секунды. Обычный рабочий день королевы, как напишет вечером один спортивный паблик, ещё не зная, каким заголовком будет открываться завтра.

У разминочного поля, сразу после маршрута, её перехватила Регина — верхом, разгорячённая после своего маршрута, который Снежана краем глаза видела на табло: восемь штрафных, сто тридцать.

— Снежана Игоревна, можно вопрос? — Девочка смотрела сверху вниз, но получалось у неё почему-то снизу вверх. — Заход на шестое, после виража. Вы же на приземлении уже смотрели на седьмое, да? Я так не успеваю. Глазами не успеваю.

— Глаза тут ни при чём. — Снежана перекинула повод. — Вы смотрите на препятствие, потому что боитесь его. А смотреть надо туда, куда едете. Препятствие никуда не денется, поверьте. Оно дожётся.

— А если я и туда боюсь?

Вопрос был неожиданно честный — первый честный вопрос за полтора года, что эта девочка каталась по клубу со своим аукционным счастьем и папиной фамилией. Снежана посмотрела на неё внимательнее. Под дорогим шлемом и поставленной осанкой сидело обыкновенное девятнадцатилетнее «страшно», знакомое ей самой, как старый шрам.

— Тогда вы ещё не решили, зачем едете, — сказала она. — Решите. Остальное — техника.

Регина хотела спросить что-то ещё, но от трибун уже махал Аверин, и она послушно повернула кобылу — послушно, вот в чём была её беда, эта девочка всё делала послушно, — а Снежана забыла об этом разговоре раньше, чем расседлали Барбадоса. Ей ещё предстояло вспоминать его весь год — как последний разговор из прежней жизни, в котором она успела сказать что-то нужное.

У выхода с боевого поля её ждали двое: стюард в зелёной манишке и человек из судейской с планшетом. Третьим, чуть поодаль, стоял Аверин — новый спортивный директор, гладкий, как экран его телефона.

— Вольская Снежана Игоревна? — Человек с планшетом смотрел не в глаза, а в переносицу: так учат сообщать плохое. — Ваша лошадь направляется на дополнительный ветеринарный контроль. И вам необходимо ознакомиться. По результатам взятия проб на прошлом старте сезона... проба А дала положительный результат на вещество из запрещённого списка.

Слова были русские, все до одного знакомые, но во фразе они складывались, как жерди в кучу после падения — без смысла и с торчащими концами.

— Это ошибка, — сказала Снежана.

— Вы имеете право запросить вскрытие пробы Б, — ровно продолжал человек, протягивая планшет. — До рассмотрения дела на вас распространяется временное отстранение. Распишитесь в ознакомлении.

Она расписалась. Рука не дрогнула — рука у неё не дрожала никогда, за этим следила ещё мать: «дрожат руки — дрожит результат». Она вернула планшет, нашла глазами Аверина и по тому, как он смотрел — сочувственно, готово, чуть в сторону, — поняла две вещи разом. Первая: он знал до старта. Вторая: сочувствие было отретировано перед зеркалом.

Дополнительный контроль занял час. Снежана простояла его весь у ветеринарного бокса, глядя, как чужие люди в перчатках делают её коню то, что положено по протоколу: кровь из ярёмной, пломбы на пробирки, подписи, копии. Барбадос переносил процедуры со скукой ветерана — он в жизни сдал крови больше, чем иной донор, — и между пробирками методично обыскивал карманы ветврача на предмет сахара. Ветврач, молодой, из новых, сахара не имел и вообще старался на Снежану не смотреть. Все они сегодня старались.

— Номер пробы, — сказала Снежана, когда бумаги пошли по кругу. — Продиктуйте мне номер пробы. И серию пломбы.

— Это будет в протоколе...

— Продиктуйте. Я запомню.

Он продиктовал. Она запомнила — с первого раза, намертво, как запоминала маршруты: восемь цифр через дробь. Ей ещё предстояло узнать, что этими восемью цифрами теперь исчерпывается её спортивная биография — двадцать лет, два титула, сто сорок кубков, — потому что для всех, от федерации до последнего паблика, она отныне была не Вольская-которая-выиграла-всё, а «дело номер такой-то дробь такой-то».

— Барбадоса — в денник, — сказала Снежана конюху своим обычным голосом. — Попону синюю, не новую. Он потный.

Потом она шла через конюшню «Атлант-Арены», и проход перед ней расступался уже иначе. Новости в конюшнях бегут быстрее лошадей — это она знала с двенадцати лет. Кто-то отводил глаза. Кто-то, наоборот, смотрел во все свои. У денника она сняла с Барбадоса уздечку, сама, отодвинув конюха плечом, и минуту стояла, прижавшись лбом к тёмно-гнедой щеке, вдыхая запах пота, кварца и весны.

— Я разберусь, — сказала она тихо. — Слышишь? Это ошибка в бумагах. Бумаги — это просто бумаги.

Барбадос дышал ей в ухо и был согласен. Восемь лет он был согласен со всем, что она говорила этим голосом.

Вечером, в квартире, где эхо ходило от кухни до спальни, как по манежу, она сделала то, что делала после каждого старта двадцать лет подряд: разбор. Села за стол, открыла ноутбук, выписала факты в столбик. Проба взята на первом старте сезона, две недели назад. Результат пришёл сегодня — акkurat к её лучшему маршруту за два года. Аверин знал до старта. «Ротацию обсудим». «Пока — ценим». Факты выстраивались в линию, как жерди в связке, и линия эта ей очень не нравилась, потому что заходить на неё предстояло без лошади, без клуба и, судя по сегодняшним взглядам в конюшне, без единого человека рядом.

Она попробовала позвонить менеджеру, который семь лет вёл её спонсорские контракты. Менеджер не взял. Через двадцать минут он прислал сообщение — длинное, обтекаемое, со словами «пауза в коммуникациях» и «до прояснения ситуации», — и Снежана отметила про себя, что человек, бравший процент с её имени семь лет, слово «допинг» не написал ни разу: берётся. Он уже разговаривал не с ней, а с её будущим приговором.

Спортивный паблик, который она читала из гигиенических соображений — знать, что пишут, — выложил пост в 21:40. Утренний черновик у них, видимо, назывался «Обычный рабочий день королевы». Вечерняя версия вышла под другим заголовком, и на фото, выбранном со знанием дела, Снежана Вольская смотрела в камеру своим самым ледяным взглядом — идеальная иллюстрация к слову «попалась».

Она дочитала до середины комментариев. Закрыла. Вымыла и без того чистую чашку. И легла спать по расписанию, потому что расписание — единственное, что у неё на тот момент оставалось в собственности.

Она ошибалась ровно в одном: это не была ошибка в бумагах.

Глава 2

Апрель в районе стоял такой, что дорогу от трассы до Заречья местные делили на три части: асфальт, направление и приключение.

День у Матвея Ковалёва начался, как положено, в шесть: печь, каша, обход. Две его будёновские матки — Вербя на одиннадцатом месяце и молодая Полынь — встретили его в леваде утренним ритуалом: Вербя солидно, Полынь свечкой, от избытка. Он проверил воду, скинул сена, привычно охлопал Вербя бока — жеребилась она в мае, и к маю у него был расписан каждый день, потому что жеребёнок от Вербя был не просто жеребёнок, а десять лет его селекционной арифметики: линия, которую он собирал по крупцам, как другие собирают библиотеки.

С Вербой у него в эти недели был отдельный ритуал: ладонь на бок, подождать. Жеребёнок толкался — сильно, взросло, с характером, и Матвей каждый раз убирал руку с одним и тем же незаписываемым чувством, для которого в его журналах не было графы. Десять лет арифметики: линия через донскую кобылу, за которой он в своё время гонял в Ростов, помножить на Вербину спину и Вербино сердце. На бумаге выходило красиво. Но лошади бумаг не читают — потому и надеялся он в мае не на цифры, а на солому, сухую погоду и лёгкую руку.

Потом была кузница до девяти — два заказа с шиномонтажом не связанных, ворота человека и петли, кузнец в районе живёт не одними копытами, — а к десяти он поехал на тот берег, к деду Семёну, у которого стоял на попечении старый орловец Заказ, гордость и разорение всего семёновского пенсионного бюджета.

— Хромает? — спросил Матвей, заходя в сарайку.

— Оступается, — со значением сказал дед Семён. Он никогда не говорил «хромает» — от слова «хромает» до слова «усыплять» деду слышался один шаг, и он этот шаг словами не разрешал.

Матвей поднял орловцу ногу, почистил стрелку, прошёл щупом. Наминка — ерунда, неделя покоя. Он отковал Заказа по-стариковски, с войлоком, записал в журнал — «Заказ, о., 22 г., пр. пер., наминка, покой 7 дн., контроль» — и выслушал от деда обязательный курс новостей: у кого отелилось, кто продал сено втридорога и какая через неделю будет погода, врёт телевизор или не врёт.

— Ты вот скажи мне, Сергеич, — дед Семён уселся на перевёрнутое ведро, что означало разговор длинный. — Заказу моему сколько ещё ходить? Только честно, без ветеринарной дипломатии.

— Честно — не знаю. — Матвей убрал щуп. — Сердце у него годное, ноги на войлоке достоят, а упрямства вообще на две жизни. Ходить будет, пока ты к нему ходишь.

— Это ты складно завернул. — Дед пожевал губами, скрывая удовольствие. — Мне в районе один советчик: сдай, говорит, дед, коня, на что тебе на пенсии рысак. Я ему говорю: а тебя, дурака, на что твоя баба держит? Тоже ведь ни скорости, ни экстерьера.

— И что он?

— Обиделся. Слова им не скажи. — Дед покосился на Матвея хитрым глазом. — А ты чего смурной? Заказов мало?

— Заказов много. Времени мало. Вербя в мае жеребится.

— От того гнедого, донского?

— От него.

— Ну, — дед Семён поднялся с ведра торжественно, как встают к тосту, — тогда до мая доживаем все: я, Заказ и твоя арифметика. Я же помню, как ты за той кобылой в Ростов мотался. Будет и на твоей улице выводка.

Про Ростов было правдой, про арифметику — тоже. Матвей неопределённо повёл плечом — хвалиться до выжеребки он не стал бы и под угрозой, примета из тех, в которые верят даже

неверующие, — и начал прощаться, что у деда Семёна было отдельной процедурой минут на двадцать.

Домой он возвращался за полдень — и уже с горки увидел на «приключении» чужую машину. Белый кроссовер городской породы сидел в колее по пороги, элегантно, всеми четырьмя, как садятся только дорогие машины и только у дураков. Возле машины, одетая не по распутице, стояла женщина и разговаривала по телефону — той специальной городской походкой на месте, взад-вперёд по единственному сухому метру, какой ходят люди, у которых даже злость по расписанию.

Гайка на пассажирском сиденье подняла ухо.

— Вижу, — сказал Матвей.

Он остановил свой УАЗ-«буханку» в трёх метрах, вышел, оценил посадку кроссовера — плотно, по самое днище, до вечера будет качаться — и молча пошёл к сараю у поворота, где у него с осени стоял на приколе трактор дедов, ещё «беларусь», живой, как всё, что Матвей брал в руки.

— Эй! — окликнула женщина. — Мужчина! Вы местный?

Матвей обернулся. Вблизи она оказалась из тех, кого он видел только на журнальных обложках в ветаптеке: белое пальто, сапоги ценой в его месяц, лицо красивое и закрытое, как новый замок. Где-то он её видел. Где — вспоминать не стал: журналы в ветаптеке листают от скуки.

— Местный.

— Прекрасно. — Она убрала телефон. — Мне нужен трактор, буксир и двадцать минут. Я заплачу. Сколько?

— Никак, — сказал Матвей.

— Что — никак?

— Трактор — да. Буксир — да. Заплачу — никак. — Он открыл ворота сарая. — У нас тут за вытащить из грязи денег не берут. Примета плохая.

— Я не верю в приметы.

— А грязь верит, — сказал Матвей и полез в кабину.

Вытаскивал он её минут пятнадцать, без спешки, с двумя перецепками — кроссовер сидел вдумчиво. Женщина стояла рядом, держала руки в карманах и смотрела не как все городские — не в телефон и не на свои сапоги, а на работу: на трос, на угол тяги, на колею. Один раз сказала «под левое колесо доску» — и, что самое неожиданное, сказала по делу. Матвей положил доску под левое колесо.

Когда кроссовер, чавкнув, выбрался на твёрдое, она обошла машину, оценила слой грязи по стёклам — и усмехнулась — коротко, криво, самой себе:

— Символично.

— Чего? — не понял Матвей.

— Ничего. — Усмешка исчезла так же быстро. — Спасибо. Если не деньгами — то чем у вас тут принято?

— У нас тут принято ездить по погоде, — сказал Матвей, сматывая трос. — В Заречье, что ли, собрались? Больше туда некуда.

— В Заречье.

— Ну вот по весне туда с трассы через Каменку заезжают, крюк семь километров, зато асфальт. — Он закинул трос в кузов и, уже поворачиваясь, добавил: — А по прямой тут до мая только трактора ходят. И дураки.

Она посмотрела на него долгим взглядом — так, наверное, она смотрела на людей, которых собиралась запомнить, — и села в машину. Белый кроссовер аккуратно, уже по-умному, по краю, пошёл в сторону Каменки.

— Видала? — сказал Матвей Гайке, забираясь в «буханку». — «Символично». Городские.

Гайка зевнула. Ей было всё равно, лишь бы ехали домой, в кузницу, где тепло, где пахнет углём и копытным рогом и где через два часа должен был вариться суп на двоих: на него и на неё, потому что больше в доме Матвея Ковалёва никто не жил, и его это устраивало. Он так думал.

Вечером, после супа, он сел за журналы — вторник был у него днём записей: сверить графикковки на две недели, кто подходит по циклу, кому звонить. Журналы стояли на полке над верстаком, по годам, четырнадцать одинаковых клеёнчатых тетрадей, и в этом ряду был весь его взрослый мир: каждая лошадь района, каждое копыто, каждая дата. Ниже, под верстаком, стоял ящик, который в опись не входил, — старый, армейский, с юниорскими розетками, фотографией серого коня по кличке Абрек и номером с последнего кросса. Ящик Матвей не открывал одиннадцать лет. Не потому, что больно. Потому что бесполезно: то, что он должен был сказать тогда, не говорилось задним числом ни в какой ящик.

Журналы он вёл с двадцати одного года — начал ещё в подмастерьях, у старого коваля, который вбивал науку просто: «не записал — не ковал». Но настоящую цену записи Матвей узнал позже, после кросса: выяснилось, что из всех слов, каких человек не сказал вовремя, бумага сохраняет только те, что он всё-таки записал. С тех пор тетради велись так, что хоть сдавай в архив: время, копыто, номер партии, слово. Четырнадцать лет подряд, без пропусков, одной рукой.

В десятом часу позвонил диспетчер «Атланта» — сверить майский график: сорок голов, две смены, «и просьба закладывать время с запасом, у нас перестановки в составе». «Атлант» был его крупнейшим заказчиком — половина годового оборота кузницы, если по-честному, — и Матвей, как всякий человек, у которого половина оборота висит на одном телефонном номере, к этому номеру относился внимательно.

— Перестановки — это по вашей части, — сказал он диспетчеру. — По моей — копыта. Копытам ваши перестановки без разницы.

Он ошибался. Но об этом — позже.

Фамилию женщины из грязи он узнал через четыре дня — из того самого журнала в ветаптеке, только теперь она была не на обложке, а в новостях, и заголовок был из тех, после которых он обычно закрывал страницу: «Допинг-скандал: королева конкурса попалась». Матвей заголовок прочитал. Поморщился — слово «попалась» он не любил: так пишут люди, никогда не стоявшие рядом с лошадью. И страницу закрыл.

Его это не касалось. Его дело было — копыта.

Вечером, нестати, вспомнилась ему эта женщина посреди грязи — как стояла, руки в карманах, и смотрела на трос, а не на свои утопленные сапоги. «Под левое колесо доску». Он тогда доску положил и удивился, а удивлялся Матвей редко. Люди, которые в беде смотрят на работу, а не на убыток, попадались ему нечасто — и, как правило, потом оказывались лучше своих заголовков.

Он ещё не знал, что через месяц будет знать наизусть номер её пробы.

Глава 3

Контракт с ней разорвали за сорок восемь часов — ровно столько времени понадобилось юридическому департаменту «Атлант-групп», чтобы найти в договоре пункт о «действиях, наносящих ущерб деловой репутации клуба», и оформить его в вежливое письмо на бланке.

Снежана прочитала письмо стоя, посреди своей квартиры, и первым делом отметила профессиональное: пункт был составлен грамотно. Она сама подписывала этот контракт три года назад — при прежнем юристе, при Алле Сергеевне, — и тогда этого пункта в такой редакции не было. «Атлант» переподписывал всех прошлой весной. Все подписали. Она подписала первой — показать лояльность новому владельцу. Лояльность, как выяснилось, была улицей с односторонним движением.

Второе письмо пришло через час и было хуже первого. «В связи с прекращением трудовых отношений доступ на территорию клуба аннулирован... имущество клуба, включая спортивных лошадей, передаче не подлежит...» Имущество клуба. Барбадос проходил по бухгалтерии «Атланта» той же строкой, что коневозы и поливальная машина. Восемь лет её жизни стояли в опечатанном деннике на территории, куда её не пускал турникет.

Она поехала туда в тот же вечер. Охранник на КПП — новенький, из одинаковых, — долго слушал её ровный голос, смотрел в список и потом сказал единственную честную фразу за весь этот день:

— Женщина, я вас по телевизору видел. Мне сказали вас не пускать особо.

«Особо». Она запомнила это слово. В нём было всё устройство её новой жизни.

Она не уехала сразу. Объехала базу по внешней дороге, вдоль сетчатого забора, за которым лежали дальние левады, — и увидела его. Барбадоса вывели одного, в дальнюю, к самому забору: тёмно-гнедой, безошибочный, он стоял у сетки мордой к дороге, как будто ждал. Снежана остановила машину, вышла — и конь заорал. Не заржал — заорал, гулко, требовательно, на всю округу, тем особым голосом, каким лошади зовут своих, и пошёл вдоль забора за её шагами, не отставая ни на метр, до самого угла левады, где сетка кончалась и начинался бетон.

— Тихо, король. — Она просунула пальцы в ячейку. Тёплая морда ткнулась с той стороны, выдохнула, обдала жаром. — Тихо. Я тебя не отдам. Ты меня знаешь: я не умею отдавать.

За спиной, от КПП, уже шёл к ней человек в форме — вежливо выпроваживать. Снежана вытерла ладонь о белое пальто, села в машину и уехала раньше, чем он подошёл: доставлять «Атланту» удовольствие видеть, как её уводят от забора, она не собиралась.

Неделю Снежана провела так, как привыкла решать любые задачи: методично. Адвокат по спортивному праву — консультация, счёт, разведённые руки: «проба А есть проба А, ждём пробу Б, шансы посмотрим». Запрос на вскрытие пробы Б — подан. Звонки — тридцать шесть исходящих за первые два дня: коллегам, судьям, знакомым функционерам, людям, с которыми она десять лет стояла на одних пьедесталах и сидела на одних банкетах. К четвёртому дню она поймала себя на том, что составляет табличку: кто взял трубку, кто перезвонил, кто «сейчас неудобно». Таблица получалась короткая в первой колонке и длинная в третьей. Контакты — так это называлось в её телефоне. У неё было четыреста контактов и не было ни одного человека.

Отдельной строкой в таблице стояли те, кто позвонил сам. Таких оказалось двое. Первым — старик Никитин, тренер из её юниорского прошлого, полуслепой, давно на пенсии: «Мне сказали, ты в беде. Ты, главное, спину держи и корми лошадь с руки, остальное наладится». Что именно случилось, он понимал смутно, и оттого разговор вышел самым человеческим за неделю. Вторым позвонил журналист — из вежливых, с расшаркиваниями — и предложил «рассказать вашу версию событий». Версию. У правды, оказывается, была теперь версия, и правда без версии никого не интересовала.

На пятый день позвонила мать. Снежана увидела имя на экране и три гудка решала, брать ли, — решала с тем же холодным расчётом, с каким заходила на незнакомую связку.

— Я прочитала, — сказала мать вместо здравствуй. Голос был ровный, поставленный, тренерский — семьдесят один год, а хоть сейчас на бортик. — Скажи мне одно. Что ты сделала не так?

Не «это правда?». Не «как ты?». Что ты сделала не так — формула, в которой Снежана выросла, как в гимнастическом купальнике: результат не обманывает, судьи не ошибаются, если ты упала — значит, ты недоработала. Сорок лет мать жила в мире, где не бывает подставы, а бывает недостаточная подготовка.

— Я ничего не сделала, мама, — сказала Снежана. — В этом и проблема. Доказать «ничего» труднее всего.

— Значит, плохо готовилась к «ничего», — сказала мать, и это было почти утешение — самое тёплое из доступных ей. — Держи спину. Вольские не сутулятся.

Снежана положила трубку и долго сидела, держа спину. Потом впервые за много лет подумала о матери без злости — с новым, неудобным чувством, похожим на узнавание: вот откуда контракт. Вот кто его составил, пункт за пунктом, ещё до того, как она научилась читать.

Пресса отработала за неделю весь букет: «падение королевы», «ледяная маска дала трещину», экспертное мнение анонимного «источника в клубе» о том, что «результаты последних сезонов давно вызывали вопросы». Источник в клубе. Снежана перечитала это трижды и спокойно, отстранённо отметила, что впервые в жизни ей хочется разбить телефон о стену. Она не разбила. Дрожат руки — дрожит результат.

А в субботу утром она стояла посреди своей квартиры — сто двадцать метров глянца, каждый предмет по каталогу, ни одной фотографии, — и с ледяной ясностью поняла, что в этой квартире нет ничего её. Вообще ничего. Квартира была витриной достижений, а достижения кончились в четверг, и теперь это было просто дорогое пустое помещение, где очень тихо.

В календаре на телефоне — единственное, что не отменилось за эту неделю, — стояла завтрашняя строчка, повторяющаяся каждые две недели полтора года подряд: «Заречье. Ласточка. 9:00».

Снежана долго смотрела на неё.

Берейторская работа — договорённость, старый долг с финала, её собственная прихоть «посмотреть, как оно делается без стеклянных стен». Никто там не ждал от неё объяснений. Никто не был её контактом. Это было единственное место в её расписании, куда можно было приехать не прося, не объясняя и не ловя взгляды, — просто потому, что так стояло в календаре.

Она собрала сумку за двадцать минут. По списку. Потом посмотрела на список, порвала его и покидала в сумку вещи без списка — первый раз лет за пятнадцать.

В «Заречье» она приехала к девяти, через Каменку, по асфальту, как учил трактор. Двор школы жил воскресной жизнью: у левад галдела детская смена, дядя Костя вёл в поводу пони с очередным намертво вцепившимся в гриву счастьем лет шести, из манежа доносился ровный Верин голос. Пахло оттаявшей землёй, сеном и дымом из конторкиной трубы. Никто не обернулся ей вслед. Здесь она полтора года была «Снежана, которая по воскресеньям», и новости, судя по всему, этого не отменили.

Вера вышла из манежа, вытирая руки, посмотрела на неё — одним длинным взглядом, от лица до сумки в багажнике, слишком большой для одного дня, — и Снежана приготовилась. К вопросам. К сочувствию. К самому худшему — к деликатности.

— Ласточка застоялась, — сказала Вера. — Вчера дурила на корде, как трёхлетка. Переодевайся, манеж твой до одиннадцати. — И уже поворачиваясь: — Обедаем в час, в конторке. Дядя Костя суп сварил, имей в виду: у него от души, отказаться нельзя.

Всё. Ни слова больше. Снежана стояла посреди чужого двора с ключами в руке и чувствовала, как что-то в грудной клетке, простоявшее неделю сжатым, как пружина в часах, медленно, со скрипом отпускает на четверть оборота.

— Вольская, — окликнула Вера от дверей манежа, не оборачиваясь. — Комната над конторкой свободна. Если что.

«Если что». Два слова. Ни вопроса, ни жалости, ни условий.

Пока она стояла, осмысляя, из конюшни вылетела Лика — семнадцать лет, на полголовы выше, чем год назад, всё та же скорость речи — и затормозила в метре, удерживая себя от объятий, к которым Снежана была конструктивно не приспособлена.

— Я посчитала, — выпалила Лика вместо приветствия. — Все ваши старты за два сезона, время, штрафные, динамику по маршрутам. Если бы Барбадос ехал на препаратах, кривая была бы другая, там же видно, где лошадь сама, а где её тащит химия, у меня всё в таблице, я могу показать хоть федерации! Вы не могли. Это математика.

Снежана посмотрела на неё — на первого человека за неделю, который сказал «вы не могли» не из вежливости, а с таблицей, — и почувствовала, что горлу требуется усилие.

— Покажешь, — сказала она. — Федерации — рано. Мне — сегодня.

От манежа, приподняв руку, кивнул Глеб — коротко, по-рабочему, как кивают коллеге, у которого трудная лошадь: без театра. Здесь вообще никто не играл сочувствие, и от этого его было столько, что хоть вывози тачками.

Снежана Вольская, тридцати одного года, первый номер отечественного конкур в временном отстранении, взяла из багажника сумку, слишком большую для одного дня, и понесла её наверх, в комнату над конторкой, где пахло деревом и чужой простой жизнью, и где ей отныне предстояло выяснить, кто она такая, если вычесть кварц, клуб, контракт и корону.

Вычиталось пока плохо. Оставался, кажется, только почерк.

Комната над конторкой оказалась маленькой, деревянной и честной: кровать, стол, шкаф, за окном — крыша конюшни и угол левады. Снежана разобрала сумку за десять минут, села на кровать и приготовилась к худшему часу суток — к тишине, в которой она всю неделю училась не слышать собственные мысли.

Тишины не случилось. Дом жил: внизу, в конторке, бубнил чайник, и дядя Костя рассказывал кому-то бесконечную историю про жеребца по кличке Прибой; за стеной возились и вздыхали лошади; по крыше прошла кошка — уверенно, как обходчик. Здание дышало, скрипело и не собиралось оставлять её наедине с собой.

В её квартире тишина стоила дорого: шумоизоляция, стеклопакеты, консьерж. Здесь тишины не было вовсе — и спать, как выяснилось, можно было только здесь.

Она уснула, не поставив будильник, — впервые за пятнадцать лет. В шесть тридцать её разбудил будильник, о котором она не просила: под окном, требовательно и лично, орал петух.

Глава 4

Ковка была назначена на вторник, и к вторнику Снежана уже знала расписание школы наизусть: подъём в шесть тридцать, кормёжка, отбивка денников — да, своими руками, здесь это делали все, и она делала, сжав зубы и купив в сельпо резиновые перчатки, над которыми дядя Костя ржал так, что пугались кони в левадах.

— Ты краги надень, — советовал он сквозь слёзы. — Для навоза — краги!

— Константин Ильич, — ровно отвечала Снежана, — когда я захочу узнать ваше мнение о моей экипировке, я пришлю письменный запрос.

— Присылай! — сиял дядя Костя. — Я неграмотный!

К концу первой недели у неё появились мозоли — настоящие, рабочие, на обеих ладонях, и Снежана рассматривала их по вечерам с недоумением естествоиспытателя: тридцать один год, тысячи часов в седле, а руки, оказывается, были домашние. Ещё у неё появился аппетит — тоже настоящий, от которого борщ кончался раньше, чем гордость успевала вмешаться. Организм, не спрашивая хозяйку, голосовал за новую жизнь.

Таблицу Лика показала ей ещё в воскресенье, вечером первого дня, — разложила ноутбук на конторкином столе и сорок минут, с прокруткой и графиками, объясняла свою математику: время на маршрутах, средняя скорость, динамика по сезону, наложение на профиль действия «веществ этой группы» — про профиль она вычитала в открытых базах и цитировала с фармакологической невозмутимостью. Вывод у неё был обведён красным: резких изменений результативности нет, кривая ровная, «на химии так не ездят — на химии сначала ездят лучше, а потом никак, у вас же просто своя лошадь и своя работа».

— Здесь ошибка в третьем столбце, — сказала Снежана, дослушав. — Рязань, перепрыжка: у меня было не сорок один и три, а сорок один и восемь. Пересчитай.

Лика посмотрела на неё долгим взглядом профессионала, услышавшего от клиента дельное замечание, и молча внесла правку. С этой секунды они сработались.

Утро понедельника выдало ей сцену, к которой она оказалась не готова. После кормёжки Вера позвала её в дальний денник — «посмотришь одно чудо», — и в деннике, за кобылой, обнаружилось чудо на длинных, не по росту, ногах: рыжий жеребёнок с гривой дыбом и наглым, до боли знакомым выражением на детской морде.

— Игрок, — сказала Вера. — Искрин. От Грифа. Апрельский.

Жеребёнок немедленно подошёл знакомиться — бесстрашно, по-хозяйски, обнюхал Снежанины перчатки, чихнул на них и попытался съесть молнию куртки. Искра из-за его спины наблюдала со снисходительностью вдовствующей императрицы.

— Ирбисова линия с немецкой головой, — сказала Вера с той гордостью, которую не прячут. — Дядя Костя говорит: это будет лошадь.

Снежана стояла, позволяя жеребёнку жевать свою молнию, и молчала, потому что говорить мешало. У неё за спиной было восемь лет с лучшим конём страны — и ни одного жеребёнка: в её мире лошади появлялись из коневозов с документами, готовые, как техника из салона. Здесь они появлялись вот так. Из ночи в апреле, из десяти лет чьей-то веры, на длинных ногах.

— Захочешь — помогай с ним по осени, — сказала Вера буднично. — Оповаживать, первые уроки. У тебя руки правильные, а ему нужны лучшие.

«У тебя руки правильные». Снежана унесла эту фразу с собой, как уносят с маршрута розетку, и странное дело: от этих перепалок, денников, жеребят ей делалось легче, чем от всех тридцати шести исходящих той недели. Здесь с ней разговаривали без переносицы — глаза в глаза, и подкалывали так, как подкалывают своих: без второго дна. К третьему дню она заметила за собой, что ждёт обеда в конторке. К четвёртому — что помнит, из какой кружки

пьёт: из той самой, с отбитой ручкой, которую ей когда-то, миллион лет назад, в другой жизни, наливала Вера. Кружку никто не заменял. Это, кажется, было единственное место на земле, где вещи не менялись от того, что у тебя изменились обстоятельства.

В понедельник за обедом — борщ, от души, отказаться нельзя — Вера дождалась, пока дядя Костя уйдёт к вечерней смене, и сказала, глядя не на Снежану, а в кружку:

— Я не спрашиваю про дело не потому, что мне всё равно. А потому, что ты расскажешь сама, когда решишь. У меня так было. Мне однажды все всё решали за спиной — из лучших побуждений, целый заговор доброты. С тех пор я в чужие дела без приглашения не вхожу. Но ты знай: приглашение у тебя бессрочное.

Снежана помолчала, вертя кружку с отбитой ручкой. Потом сказала — сухо, потому что иначе не умела:

— Проба А положительная. Я не давала. Запросила пробу Б. Контракт разорван, конь у них. Всё.

— Всё, — согласилась Вера, не дрогнув. — Значит, слушай вводную. Здесь тебе три вещи: работа, крыша и люди, которые в грязи разбираются лучше, чем в заголовках. Остальное — по мере поступления. Ешь, борщ стынет.

И это оказалось ровно тем объёмом сочувствия, который Снежана могла переносить без аллергии. Она доела борщ. Впервые за две недели — до дна.

Во вторник в девять во двор въехала знакомая «буханка», и из неё вылез — ну конечно. Трактор. «А грязь верит». Абориген с философией.

— Вы, — сказала Снежана.

— Я, — согласился Матвей, оглядывая её без удивления, как погоду. — А вы, стало быть, та самая Ласточка. То-то я думаю: кого это по весне через колею несло.

— Ласточка — лошадь.

— Знаю. Я её ковал в феврале. — Он открыл борт, и в кузове обнаружился целый кузнечный мир: горн, наковаленка, ящики с подковами по размерам, инструмент — всё вычищенное, всё на своих местах, с той нестерпимой правильностью, которую Снежана уважала в людях больше всего остального. — Лошадь умная. Умнее многих.

Она пропустила это мимо ушей — почти. Ковали они втроём: Матвей у копыта, Снежана на поводе, Гайка на надзоре. Вернее, ковал он, а она держала Ласточку и первые десять минут делала замечания: постановка, угол, здесь бы шире отковать, в «Атланте» ковали не так.

— В «Атланте», — сказал Матвей, не поднимая головы от копыта, — ковали под кварц. А ей по грунту работать. Разные ноги.

— Это одна и та же лошадь.

— Лошадь одна. Жизни разные. — Он выпрямился, взял рашпиль. — Вы же вроде спортсменка. Должны понимать: снаряд под задачу.

«Вроде спортсменка». Снежана почувствовала, как знакомо камнеет лицо, — и с опозданием поняла, что он не уколол. Он вообще не знал, что тут можно уколоть. Он сказал «вроде» в смысле «кажется» — человек, который её журналов не читал, заголовков не помнил и знать не знал, что стоит рядом с главным допинг-скандалом сезона. Для него она была женщина из грязи, которая хорошо держит лошадь и много командует.

Это было настолько ново, что она замолчала на целую подкову.

— Держите крепче, — сказал Матвей. — Сейчас правую заднюю, она ей щекотная.

Правая задняя действительно оказалась щекотной: Ласточка дёрнула, присела, пошла боком — и Снежана удержала её коротко и точно, корпусом, разворотом, погасив за секунду, раньше, чем кобыла сама поняла, что испугалась.

Матвей посмотрел на это дело снизу, от копыта. Чуть подольше, чем смотрят на погоду.

— Умеее, — признал он.

— Я вроде спортсменка, — сказала Снежана.

Он хмыкнул — коротко, в усы, и до концаковки они молчали уже по-другому: рабочим молчанием, которое не надо заполнять.

Работать рядом с ним оказалось похоже на работу с хорошей лошадей: никаких лишних движений, никакого шума, каждое усилие — по делу и в момент. Подкову он мерил трижды, грел, подгонял, снова мерил; на вопрос, не проще ли взять готовую по размеру, ответил, не отрываясь: «Готовую — проще. Носить — хуже», — и Снежана прикусила язык, потому что этой фразой можно было описать половину её прежней жизни, от контрактов до знакомств.

В финале он достал из кабины толстую тетрадь в клеёночато́й обложке, разграфлённую от руки, и стал писать — долго, подробно, старомодным разборчивым почерком: дата, время начала и конца, лошадь, размер, номер партии подков, особенности.

— Это что? — не выдержала Снежана.

— Журналковки. — Он убрал тетрадь. — На каждую лошадь свой. Вон, у Ласточки уже третья страница.

— Зачем? Есть же программы. Телефон.

— Телефон сядет. — Матвей захлопнул борт. — А бумага помнит. У меня с двенадцатого года все копыта района записаны. Кто когда захромал, кто на чём стоял, кто что подписал. — Он сел в кабину, Гайка запрыгнула следом, и уже через окно, трогаясь, он добавил то, от чего у Снежаны много позже, задним числом, пойдёт мороз по спине: — Бумага, если по-честному вести, самый терпеливый свидетель. Ждёт годами, а скажет — не перебе́шь.

«Буханка» уехала. Снежана осталась стоять посреди двора с Ласточкой в поводу, и кобыла тянула её к леваде, к траве, к простым вещам.

День дожил до вечера так, как доживали здесь все дни: детская смена разъехалась, лошадей развели, двор притих, и над левадами встал тот особый час, когда конюшня звучит лучше всего — хрустом, вздохами, редким стуком копыта о доску. Снежана обнаружила, что стоит у ограды и слушает. Просто слушает. В её прежней жизни этот час был занят разбором видео.

А вечером того же вторника, когда она поднялась в свою комнату над конторкой, телефон — молчавший неделями, если не считать адвоката и спам-звонков, — выдал уведомление, от которого пол качнулся под ногами.

Официальный релиз «Атлант-групп». Три абзаца корпоративного языка. «Оптимизация спортивных активов». «Открытый аукцион». Список лотов приложением.

Лот номер один: мерин голштинской породы, тёмно-гнедой, 2014 г. р., кличка Барбадос.

Снежана села на кровать и долго, неподвижно, смотрела в стену, на которой не было ничего, кроме выцветшего прямоугольника от чьей-то старой фотографии.

Двадцатое июня. Три месяца. Она посчитала — машинально, по двадцатилетней привычке считать всё: тринадцать недель, девяносто с лишним дней. На что их должно хватить, она пока не знала. Знала одно: считать теперь придётся не секунды.

Потом взяла телефон и — впервые за неделю, впервые, кажется, за жизнь — набрала номер не из «контактов».

— Вера? Это Вольская. — Голос сел; она откашлялась и сказала так ровно, как смогла: — Мне нужна помощь.

Глава 5

Военный совет собрался в конторке в восемь вечера, и Снежана, войдя, на секунду задержалась на пороге: она впервые видела это помещение в полном составе.

За столом сидели Вера и Глеб. Дядя Костя занимал диван — вернее, диван занимал дядю Костю, глубоко и навсегда. На подоконнике, обняв колени, устроилась Лика с планшетом наизготовку. С экрана ноутбука, из аккуратной домашней кухни, смотрела Алла Сергеевна — очки, блокнот, ручка наперевес: юрист школы имени Астахова выходила на связь во всеоружии. Перед пустым стулом — её, снежаниным, стулом во главе стола — стояла кружка с отбитой ручкой, и от этой мизансцены у Снежаны второй раз за неделю случилось то самое, требующее усилия, в горле.

Всю жизнь она входила в комнаты, где решалась её судьба, одна. Так была устроена её профессия, так была устроена она. Комнат было много: судейские, дирекции, переговорные с кожаными креслами. Ни в одной из них ей не ставили кружку.

— Садись, — сказала Вера. — Начнём с плохого, продолжим худшим, закончим планом. Алла Сергеевна, вам слово.

— По аукциону. — Алла заглянула в блокнот, хотя явно знала всё наизусть. — Формат закрытый: допускаются юридические лица и аккредитованные представители, задаток — десять процентов от стартовой цены, приём заявок до конца мая, сам аукцион — двадцатого июня. Стартовая цена по Барбадосу... — она назвала цифру, и в конторке стало тихо; дядя Костя крикнул так, будто цифра села ему на ногу. — Это верх рынка, но «Атлант» может себе позволить не торопиться. Юридически конь чист: допинговое дело — дело всадника, на статус лошади как имущества оно не влияет. Оспорить продажу мы не можем. Купить — можем. Вопрос цены.

— Цены у нас нет, — ровно сказала Снежана. Она посчитала свои ресурсы ещё ночью, по привычке, в столбик: квартира-витрина, машина, счета. До стартовой не хватало половины. — Даже если я продам всё, что у меня есть.

— Квартира сколько выставлена? — деловито спросила Алла.

— Не выставлена. Выставлю завтра.

— Не завтра, а после консультации с риелтором, которого я пришлю: на падающем рынке спешка стоит процентов пятнадцать. — Алла черкнула в блокноте. — Дальше. Машина?

— Продам.

— Машину оставь, — вмешался Глеб. — Тебе до сентября ездить: слушание, эксперты, лаборатории. Экономия на логистике — ложная.

Снежана слушала, как люди, которым она ничего не платила, распоряжаются её активами, и ловила себя на странном: возражать не хотелось. Всю жизнь слова «мои деньги» стояли у неё в одном ряду со словами «моя оборона». Оказалось, бывают военные советы, где оборону строят вокруг тебя, а не против.

— Погоди продавать, — сказал Глеб. — Алла Сергеевна, теперь про сроки дела.

— Вскрытие пробы Б — ориентировочно середина мая, дату подтвердят письмом. Если Б отрицательная — дело рассыпается, отстранение снимают, и это лучший сценарий, в который я, честно, не очень верю: лаборатории редко ошибаются в паре А–Б. Если Б положительная — слушание в федерации, ориентировочно сентябрь. И вот тут начинается интересное. — Алла сняла очки, что означало переход к сути. — Я запросила материалы дела как представитель. Мне их обязаны предоставить. Я хочу видеть всё: акты отбора, цепочку хранения проб, ветеринарные журналы клуба, накладные на корма и подкормки за две недели до старта. Подстава — если это подстава — всегда оставляет бумажный след. Бумаги не умеют молчать так хорошо, как люди.

«Бумага — самый терпеливый свидетель», — некстати вспомнила Снежана. Философия, как выясняется, водилась не только у трактористов.

— Теперь стратегия. — Вера налила чай в кружку с отбитой ручкой и подвинула Снежане. — Смотри, как ложится. Оправдание — сентябрь. Аукцион — июнь. Если мы кинемся сейчас собирать деньги на коня, мы будем покупать его в статусе «конь дисквалифицированной всадницы» — и всё равно не соберём. Если сначала имя, потом конь — есть шанс, что к осени расклад изменится. Больно, но по-другому: сначала имя.

— К осени его продадут, — сказала Снежана. Голос не изменился, но кружку она обхватила обеими ладонями, как греются. — Двадцатого июня его продадут, Вера. Каким-нибудь «перспективным юниорам» с правильной фамилией. Его перекуют под чужую посадку, перестроят под чужую руку, за полгода из него сделают другого коня. Я это видела десять раз. Топовых лошадей не покупают, чтобы ждать.

— А ты давай без похорон, — подал голос дядя Костя с дивана. — Конь не жердь, его в один день не переделаешь. Он восемь лет твой. Такое перековать — это не подкову сменить.

— Я тебе про Прибоя рассказывал? — Дядя Костя даже приподнялся с дивана, что означало высшую степень серьёзности.

— Частично, — сказала Снежана. — В первую ночь. Через пол конторки.

— Через пол не считается. — Дядя Костя устроился основательнее. — Жеребец у нас был в девяностые. Продали его в Голландию, всей конюшней ревели. Через два года наш начкон туда по делам попал, зашёл на ихнюю базу — сорок денников, морды всё чужие. Он возьми и скажи вслух, по-русски: «Ну и где тут наш дурак?» И с третьего денника — голос. Узнал. По одному слову, через два года, среди чужого языка. — Дядя Костя поднял палец. — Так что про «переделают» ты мне не рассказывай. Лошадь — не жердь. Лошадь помнит, кто её.

— И есть нюанс. — Алла снова надела очки. — Закрытый аукцион — это заявки, а заявки — это юрилица, а юрилица — это люди, которые считают деньги. Если к двадцатому июня вокруг дела Вольской будет достаточно публичного шума с правильным знаком — «подстава», «пересмотр», «вопросы к клубу», — покупатель призадумается: кому нужен актив, вокруг которого скандал не в ту сторону? Цена может и не уйти. А может уйти сама заявка «Атланта» на быструю продажу.

— То есть план такой, — подытожил Глеб, который всё это время что-то писал в блокноте своим тренерским почерком, столбиками, как программу. — Первое: Алла копает бумаги. Второе: мы готовим слушание. Третье: ты, — он посмотрел на Снежану, — приводишь себя в форму. Ты нужна делу сильной, а не сломанной: на слушании, перед камерами, везде. Работает Ласточку всерьёз, по программе, у меня. Четвёртое: к аукциону готовим всё, что можно приготовить, — и смотрим по обстановке.

— У меня пятое! — Лика вскинула руку с подоконника. — Моя таблица. Динамика Барбадоса за два сезона против профиля действия препарата. Я её причешу, и пусть Алла Сергеевна приложит к делу. И шестое: я умею в соцсети лучше вас всех, вместе взятых, без обид. «Правильный знак шума» — это ко мне.

— Тебе семнадцать, — сказала Снежана.

— Мне семнадцать, у меня триста тысяч просмотров на разборе финала Кубка, — сказала Лика. — В моём возрасте это профессия.

Снежана обвела глазами конторку: тренер, чемпионка, юрист, конюх и несовершеннолетний медиамагнат. Против холдинга с юридическим департаментом размером с её бывший клуб. Полгода назад она сказала бы, что расклад смешной. Полгода назад она много чего сказала бы.

— Принято, — сказала она. — Всё принято. Одно условие: счета за работу Аллы Сергеевны — мои. Это не обсуждается, я... — она запнулась, потому что дальше шла фраза «не

люблю быть должной», её вечная, несущая, — и услышала, как та звучит в этой комнате, среди этих людей. Фраза звучала бедно. — Я так привыкла. Пока — так.

— Пока — так, — легко согласилась Вера, и по тому, как она подчеркнула «пока», Снежана поняла: заметила. Всё она замечала, чемпионка. Порода такая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.